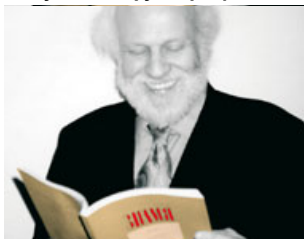


■ Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям



№ 3, 2022 № 12, 2021 № 9, 2021 № 6, 2021

№ 2, 2022 № 11, 2021 № 8, 2021 № 5, 2021

№ 1, 2022 № 10, 2021 № 7, 2021 № 4, 2021



поиск по сайту



литературно-художественный и общественно-политический журнал

ГЛАВНАЯ

РЕДАКЦИЯ

КОНТАКТЫ

СОЦ. СЕТИ

ПОДПИСКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ИСТОРИЯ ЖУРНАЛА

АВТОРЫ

НОВОСТИ

ЛАУРЕАТЫ ЖУРНАЛА

ПРОЕКТЫ

АРХИВ

АНОНС

СВЕЖИЙ НОМЕР

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛОВ

ГАЛЕРЕЯ

ПАРТНЕРЫ

ВХОД

Журнал «Знамя» 7, 2018

НАБЛЮДАТЕЛЬ
рецензии

Логосолоджия

Татьяна Хофман. Севастопология / Пер. с нем. Т. Набатниковой. СПб.: Алетейя, 2017.

«Лист календаря перевернулся — огромный оранжевый цветок.» Перед нами, действительно, — цветение словесности, аналогичное цветению реки в определенный сезон, межлитературный цветок из нелинейного пространства и времени, из ностальгии и топологии, попытка придать облик «травмам, как и мечтам». Иногда на родине так расцветает и море — если не водорослями, так медузами. «Я пишу не только с оглядкой на братские могилы и те горы, что у меня за спиной, но и с некоторым неудобством, что “моя личная территория” заболтана, политизирована, изрыта враждой — если это не произошло уже тогда, когда я катала своих кукол в уголке, в самодельных колясках.»

Татьяна Хофман — швейцарский филолог крымского происхождения и немецкой выучки, защитила диссертацию по современной украинской литературе. В своей новой, написанной уже по внутреннему импульсу, книге «Севастопология» она, подобно герою гоголевский «Шинели», испытавшему однажды странные ощущения местонахождения то ли на середине строки, то ли на середине улицы, отождествляет свое состояние с пребыванием в работах современного немецкого историка Карла Шлегеля, переизобретающего новые восточноевропейские реалии. Однако, в отличие от нарастающего глобального гносеологического удивления старшего коллеги, кочующего по влюбленностям в ту или иную территорию, для нее это постижение изнутри тесно связано с перипетиями своей собственной идентичности. И «это недослово эпохи, бьется в жилах, бренди-иденти».

Можно ли связно и линейно пересказать эти словесные метаморфозы, изначально написанные на немецком языке и превращенные (возвращенные?) в явление русской литературы переводческими стараниями Татьяны Набатниковой, во взаимодействии с редактором Игорем Клехом, обычной критической прозой? Вот автор (героиня текста?) — как бы проветривает подушки, встряхивает внутренние монологи, логово языков и пейзажей, пыгается с нынешней высоты своего жизненного и профессионального опыта попробовать каравая, аналогичного продукции современного производителя десертов-диссеминаций Хоми Баба (нынешний властитель мировых семиотических дум, полный тезка отца индийской атомной бомбы), «только скорее на деле — не примыкая к нему и не опираясь на него, а просто — как *hoto баба*».

Первые десять лет автор взирала на Крым и мир с высот маленького балкона севастопольской двухкомнатной квартиры, который выходил на крышу магазина «Буревестник», сокращенно «Бурик». Такое название, обозначая возвещающую своим низким полетом над водой бурю птицы, напоминало также «буряк», украинское обозначение свеклы, важнейшего ингредиента украинско-русско-белорусского борща. Конечно, это уже позднейшая слово-образная игра. Детство — время буквальных (безбуквенных) шалостей, когда тянет бросаться в мальчишек арбузными корками,

прячась за балконным бортиком, в ситуации обливной войны с ними на улице. «Я бушевала у штурвала каникул в уверенности, что лето за летом до самой смерти ветер будет веять именно так. Нам не надо было никакого видео от MTV.»

Но вот времена холодной войны, когда «лишняя тренировка не повредит», пусть и в игровой форме, сменились перестройкой, которая тоже «походила на войну, кому-то становилось жарко от безысходности тоски». Состоялось знакомство по телевизору с Горбачевым. «Когда мне было пять лет, мне казалось, что он обращается ко мне напрямую: он подчеркивал значение *пятилетки*. От нее, дескать, зависит будущее Советского Союза, повторял он. Потом мне исполнилось шесть лет. Пала берлинская стена... Мать на мой вопрос, что означает *перестройка*, отвечала: пустые полки.»

Когда в восемь или девять лет ты заносишь историю города в тетрадь в клеточку — десятилетие за десятилетием, войну за войной, одно число жертв за другим, — а на полях рисуешь косички, чтобы лучше сконцентрироваться; когда ты перед следующим уроком проходишь каждое пушечное слово, прогрохотавшее на бумагу из этого массива, словно четки, когда ты по несколько раз перечитываешь и учишься воспроизводить это более или менее наизусть, то всю твою жизнь ты будешь жить в плену этого слоя абстрактного страдания, подкормленной гордости и победно-торжественно-скорбного чувства, в центре старого доброго черноморского мира. Ведь добровольно, нет? Ты точно такой же его инвентарь, как и он — твоя кулиса, без таких людей, как ты, он бы рухнул, ты несешь его с собой и вовне. А что касается героев, тут у тебя дыхание пресекается оттого, как храбро они сражались, эти притягательные мамонты в мавзолее урока истории».

Образ учителя истории невольно перекликается с учителем военного дела в фильме Андрея Тарковского «Зеркало», который под маскировкой внешней суровости «состоит на службе любви, каждым сантиметром своего импозантного роста». «Он подводит тебя к купели местного патриотизма — и в ней же тебя топят. Нет, он крестит класс, чтобы тот верил ему, невзирая на урчащие пустые желудки девяностых годов и на бизнес- и жизненные цели, позднее сделавшие полкласса созревшими покинуть город, страну, не подходящую городу, не подходящую новой Украине погибшую Советскую Россию, не подходящую старому Крыму имперскую шумиху, весь тот набор долгосоветских и примитивно-антисоветских отношений, этот “конструктор” из никогда не поддающихся сборке кубиков Рубика. Массово покидал, но никогда не забывал.» Он не мог ничему помешать, пришло время имперской крымской шумихи (*крыматория*).

Родители опознаются как «подлинные герои Советского Союза с дополнительными отличиями героев перестройки и послеповоротного серфинга на волнах волнений и воли». Однако с распадом СССР пришло время «индикатора советосемитизма», до которого раньше было не дотянуться и при помощи балконной табуретки. Он был востребован не ради каких-то корней, а ради будущего детей. «Мои родители улетали как жертвы Чернобыля, которые бросали *хату* на произвол судьбы, в уверенности, что где-то в другом месте есть среда получше для развития их детей.»

Радикальность разрыва проявилась в стремлении избавиться от самого образа прошлого, то есть сожжения фотографий. Под раздачу попали и детские игрушки — пластмассовый волк, который вовсе не был таким злым, как волк из «Ну, погоди!», не говоря уж об американском Томе. «Родителям, наверное, было так же, когда все их сбережения в один прекрасный день пропали в банке.» Впрочем, именно ребенок додумался приспособить голову одной уцелевшей куклы для провоза драгоценностей матери.

«Поезд стучал колесами, потом застрочил немецкий язык, потом я заговорила на нем, ломаном, потом получила по нему отлично и много завистников.» Эмиграция «на буксире родителей в Берлин» привела к потере Крыма как детства — «так ведь и люди, оставшиеся там, лишились его тоже. Потому что пришла пора Украины.»

Берлин на таком сломе вовсе не показался землей обетованной. Уже с новыми подругами, с которыми разговаривали по-немецки, но мыслили «обрусело», устраивались состязания в метании банановой кожуры через голову назад, которые сменились переодеванием в турчанок при помощи платков и длинных юбок, проверяя на своем теле узкие границы толерантности, пока не пристал «настоящий турок». Такое «диссидентское» настроение по отношению к школе и собственной юности, «с которой не знали, куда деваться», — своего рода стихийный концептуализм, среди открытых акций которого выделялось сознательное «заблуждение» в совсем незнакомом районе малознакомого мегаполиса.

При всей нелюбви к немецкому языку «флирт» с ним, аналогом детских игрушек,

удался, в нем заблудиться не пришлось. «Мой немецкий, созданный из переводных английских и французских приключенческих книг, подражал окружающему немецкому языку — за исключением того предательского факта, что я слишком часто рассказывала о морских битвах и не говорила на берлинском диалекте.» И вот уже будущая родственница опознает у собеседницы «типично тюрингский акцент», тогда как местность напоминает территорию гаражей в Севастополе. Началось «свободное падение вытесненного родного языка», в котором, «сколько ни ищи родины», «она уже слиняла». Опять «двойка-тройка-семерка-туз» от *Германа-Розанова*, не удержусь, чтобы не включиться в игру, хотя и не желая уподобиться приставучему турку.

После двадцати лет в Берлине с неизбежными вопросами-«наездами» — *веси* ли ты или *осси*, русская ли, украинка или берлинка, а то и вовсе понаехавшая, овладения языком и принципами немецкой славистики в берлинском университете им. Гумбольдтов, с промежуточным увлечением живописью и рождением сына, городом трудоустройства и обретения себя стал швейцарский Цюрих — «мой *Zur_ich*, к себе». К осознанию и оправдания языковой и мнемонической тре(е?)панаии. «Мне и нужна утраченная память, мне нельзя помнить себя полностью, иначе будет запечатан источник желания вспоминать. Боязнь, что вытесненное будет жить собственной жизнью и однажды нанесет ответный удар из универсума, и страх утонуть, оказаться заведенной не туда, подвергнутой воспоминанию — обгоняют друг друга. Я жду, когда память сама даст о себе знать, когда она распрямится во весь рост, отеканятся ее оттиски и впечатления, ее чтимые и читаемые следы. До тех пор, пока она не испарится.»

Наконец, благодаря «логическому» слиянию обоих «лоджий», севастопольской и швейцарской (вторая часть словосочетания «севастопология» по-немецки имеет оба смысла, и это, кажется, единственная неизбежная переводческая потеря), был создан единый экран видения, придающего облик «травмам, как и мечтам». Воды Цюрихского озера, на берегах которого мелькают тени Владимира Набокова, Розалии Шерцер, Пауля Целана, перетекают в волны Черного моря, и Крым вновь «бросается на тебя как ликующий пес, смахивая хвостом даль знакомства», как «хороший читатель» из набоковского эссе «Хорошие писатели и хорошие читатели».

Что же теперь говорит *город-герой*? «Что он сопротивлялся остальному миру на 200 лет дольше, чем я? Что русский мир в касках возвращает его естественным образом в русскость, что он сияет в своем историческом и культурном превосходстве даже и не по-русски, дополняя северное сияние. Пестрый букет — без которого не может быть накрыт ни один торжественный праздничный русский стол. Как-то так. Я спрашиваю себя, в моей детской наивности, которую я не могу стряхнуть с себя, разве что иногда в *sophisticated German*, но и здесь лишь так себе, как русские солдаты были замаскированы в Крыму, я спрашиваю себя в экзистенциальном непонимании, что теперь означает “русское” для других и для меня. Я могу постичь это меньше, чем украинское, с которым я эмоционально дохожу до границы, так сказать, внутренней, личной границы приличия и дистанции.»

В какой-то мере эта попытка удержать идентичность между геопоэтикой и геополитикой напоминает героев постдеревенской прозы Василия Шушина, стоящих одной ногой на берегу, другой — на отплывающей лодке, при всей разнице содержания отъездов и привнесения теперь «наездов» языковых. «Русскому, каким я его знала, я давно разучилась, онемечилась и обозначаю это еще раз: я впустила в свою взрослую жизнь этого захватчика, базирующегося в родном порту, только с рождением моего сына — не в последнюю очередь со словами вежливости. В качестве доброго *зеленого человечка*, который из отчуждения всего вокруг превратился в единственно собственное.» Вот он, *единственный* и его достояние в свете гендерной и ювенальной революции, взаимной педагогики, «геополитической катастрофы» и языковой игры.

«Я не заступница ни России, ни Украины, я вообще не понимаю больше ни ту, ни другую страну, хотя и пытаюсь о них иногда робко высказаться. Я защищаю мою крымскую мистерию, мой вольный Крым, мои крымские свободы, *Krimfreiheiten*, фр-кр и кр-фр. Франция? *Crème fraîche*? Кефир? Сметана! Немножко. Мы обмазывались сметаной после солнечных ожогов, и этот великолепный послезагарный лосьон обтекал мою кожу и изменял мое нутро, вместе с тогдашним солнечным блаженством, так сказать: матросская татуировка сплошняком. Я ручаюсь за согласный перекал гальки и гласные фабулы моря, прибитые к берегу для купания в куплетах описания. За Крым, как он накатывал на меня при возвращении в Цюрих (крымня, забери-меня), нес меня и захватывал с собой, хотя так и не научил меня плавать, но и не расплылся во мне. Крым, который навьлет меня ранил и подбил на этот текст.»

Спасительная для пересыхающей кожи сметана крымского текста, два детства почти без промежуточной юности, крымнее не бывает...

Александр Люсый

[Пользовательское соглашение](#) | [Политика конфиденциальности персональных данных](#)

[Условия покупки электронных версий журнала](#)

info@znamlit.ru